БЛОКАДА ЛЬВА ДРУСКИНА

Публикуемый текст выходит в свет в преддверии 100-летия поэта Льва Друскина (1921—1990).

В юности будущий поэт вел дневник. Скажут: кто в юности не вел дневников? Но у дневниковых записей юного Льва Друскина другая цена. Подлинная их ценность состояла в том, что они велись с 22 июня 1941-го по 20 февраля по 1942 годы, то есть накануне и в самый трагический период ленинградской блокады (зима 1941—1942). Рукопись находилась долгое время у Л. В. Друскиной, вдовы поэта. Сейчас дневник хранится в архиве Бременского университета (Германия). Публикуется впервые.

Казалось бы, о ленинградском поэте известно немало. Его ранний поэтический дар отметил еще в 1930-е годы С. Маршак. Тот самый Маршак, который стал называть Леву Друскина «своим учеником», а ученик о С. Маршаке выражался однозначно и с благодарностью: «учитель». В Советском Союзе вышло несколько поэтических сборников поэта. В. Шкловский, маститый литературный критик и сам автор оригинальных романов, писал о Л. Друскине: «[Физически] поэт мало ездил, но глубоко видал. Он умеет рассматривать вещи внимательно и непечально. Он умеет любить то, что он видит. Это очень ленинградский поэт».

Сложившийся мастер поэтического слова готовил к изданию очередной сборник. Гром грянул в 1980 году. «Компетентные органы» спешно высылают Льва Друскина вместе с семьей за пределы страны. Причиной послужило непозволительное — опубликованная им в Лондоне «Спасенная книга» — книга воспоминаний и размышлений Льва Друскина о своей жизни в «предложенных (властью) обстоятельствах».

Лев Друскин не собирался эмигрировать. Он не был воинствующим «протестантом» и активным борцом с «системой», хотя в зрелые годы он уже видел, во что выродился «советский проект», и не связывал с ним, как в молодые лета, никаких человеческих надежд.

Его поэзия неожиданно убеждала в том, что так точно и прекрасно выразил один философ: «Люди обычно гораздо лучше своих мыслей, слов и поступков». Его поэзия была согрета энергией тонкого лиризма, естественного, а не надуманного отношения к жизни и всему живому. Так творит всякий внутренне свободный и одаренный человек.

Во вступлении к «Спасенной книге», которая так взбесила власть и за которую он был лишен гражданства и выслан, поэт пишет: «Я никогда ничего не писал в прозе. Даже письма для меня — мучительная повинность... Я поэт, и тут знаю себе точную цену. А сейчас я обнажаю перо с чувством, что берусь не за свое дело... Но мне шестьдесят лет. [И] моя жизнь в известном смысле тоже документ эпохи. И я хочу, чтобы этот документ был опубликован. В книге нет ни одного вымышленного факта, ни одной вымышленной подробности. Даже диалоги подлинные. Это принцип».

Высылка и десятилетие в приютившем чету Друскиных Тюбингене (Германия), конечно, продлили физическую и творческую жизнь Льва Савельевича. Поэт умрет в 1990 году, на 70-м году жизни. В последний путь его будут сопровождать новые немецкие друзья и старые друзья из России.

Как человек, рано почувствовавший в себе дар художника слова, Лев Друскин хотел засвидетельствовать все реалии начавшейся и предстоящей блокады с тем, чтобы в послевоенное время люди смогли увидеть и оценить беспрецедентную картину борьбы и трагедии Ленинграда...

«Я знаю, когда закончится война, меня будут жадно спрашивать: "Как жил в эти дни Ленинград?" И я никогда не сумею толком рассказать. Будут написаны сотни книг, но тысячи мелких неуловимых деталей, которые собственно и составляют основной колорит времени, будут утеряны навсегда ...»

От читательского внимания не уйдет очевидное — насколько автор дневника заряжен верой в Победу Красной армии и ненавистью к фашистскому вермахту.

Не поэтому ли сегодня вдова поэта Лидия Друскина подчеркнет главное — не ожесточение борьбы с властью, развязанной самой властью, а более важное: «Мы прожили вместе ровно тридцать лет и три года счастливо, несмотря на болезни и обстоятельства».

Александр ЩЕЛКИН,

доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН

І ЧАСТЬ

Я начал писать эту книгу, потому что я не могу молчать. События идут на меня сплошным потоком. Каждое мгновение того, что происходит, — это история. И я не имею права оставаться равнодушным зрителем. Я парализован. Я не могу самостоятельно двигаться. В великой войне, которую ведет мой народ, я не могу с винтовкой в руках защищать свою Родину.

Но каждое слово моей книги будет бить по врагу!

* * *

Когда прозвучали последние слова Молотова, я поднял глаза на ребят. Они сидели бледные, но спокойные. «Вот и война началась», — сказал Илья. Валя молчала, она только передернула плечами как от холода. «Ильюша, — попросил я, — ты не сможешь сегодня у меня вечером собрать ребят? Нам нужно о многом поговорить»...

Вечер. Небольшая комната полна народу. Ребята сидят на стуле, на столах, на подоконнике. Многие курят. Табачный дым кружится по комнате, поднимается к потолку, уплывает в открытое окно. Ребята обсуждают мое предложение. Я предложил создать художественно-агитационную комсомольскую бригаду...

Идея понравилась. Горячо и долго обсуждаем детали. Расходимся поздно, около двух часов ночи.

* * *

Первая тревога.

По черному небу ползают прожектора. Из соседних комнат, наспех одетые, выходят люди. У них бледные, сосредоточенные лица. Кто-то спрашивает: «Воду набрали?» — «Нет». — «Надо набрать»...

Я лежу на кровати и невольно перебираю в памяти газетные сообщения о бомбардировках Лондона и Парижа. Мне становится не по себе. Неужели сейчас на улицы Ленинграда упадут первые бомбы? Но проходит некоторое время, звучит отбой. Ни один немецкий самолет не прорвался к городу. Наутро радио приносит радостная весть: Англия и Америка за нас. Ну подождите, фашистские сволочи — теперь повоюем!

* * *

Трамвай везет меня по улицам Ленинграда. Как изменился город за эти дни... Люди больше обычного говорят, жестикулируют, смеются. Свежий ветер обдувает разго-

ряченные лица, разносит обрывки фраз: «без предупреждения напали... сволочи!» «Ничего... это им не Франция — обожгутся»... На улицах очень много детей. На днях их начнут эвакуировать. И вот матери не могут на них наглядеться, таскают их по городу, покупают им конфеты, новую одежду, игрушки. Часто бывают воздушные тревоги, но на них теперь никто не обращает внимание. Ленинградцы ворчат: ну для чего они лезут — немцы проклятые? Ведь все равно не прорвутся!

Кровавые волки, гиены, Не слышать вам жалоб и стоны! Над городом стонут серены,

Уходят на фронт эшелоны

* * *

* * *

Друзья уходят на фронт! Целый день в моей комнате, не умолкая, звенит телефон. Я снимаю трубку.

- Левка! Милый! Сегодня нас отправляют на фронт. Зайти не смогу...
- Рафик! Родной!.. Когда же мы теперь с тобой увидимся?
- В шесть часов вечера после войны.

И снова звенит телефон.

- Левушка, завтра я уезжаю на специальное задание. Скажи, ты веришь, что я не подкачаю.
- A ты, как думаешь? Конечно, верю. Смотри, Борька, в шесть часов после войны собираемся у меня на квартире...

* * *

27 июля я, Женька Гвоздев и Илья Ольшвангер выехали по делам [агитационной] бригады в Москву. Мы думали, что нам придется ехать в теплушке. И поэтому, увидев обыкновенный пассажирский поезд, удивились и даже испытали некоторое разочарование... Здесь в вагоне совсем не чувствуется войны. Спокойные, неторопливые проводники укладывают на полки жесткие матрацы, натягивают наволочки, разносят чай; пассажиры вытаскивают бутерброды, лениво стучат костяшками домино. Неужели сейчас, действительно, война? У Бабина увидели первый вражеский самолет. Он летел, покачиваясь, вдоль пути. Это было очень страшно. Страшное было в том, что мы чувствовали его абсолютную власть над нами... С далекой невидимой станции, защищая нас, тревожно и часто застучали зенитки. Самолет не обращал на них никакого внимания. Он приближался, становился огромным... Поезд резко остановился. Вагоны слегка вздрогнули от тупого удара. Минута — второй удар. Бомбы бросает. Заплакали дети. Поезд рванулся и пошел дальше. Потом опять остановился. Мы ма-неврировали. Самолет повернулся и скрылся за лесом...

* * *

Скоро Москва. Проводники собирают матрацы; пассажиры, весело переругиваясь, тащат свои чемоданы к выходу... Мы бродили по Москве, делая привалы у каждой будочки с газированной водой. Было жарко. Ребята, которым все время приходилось тащит стул-носилки, натерли себе руки и начали постепенно скисать... Ребята ставят стул-носилки на ступени эскалатора, и мы плавно спускаемся вниз. Станция метро «Площадь Маяковского»... Десять часов вечера. Москвичи [в метро] уклады-

ваются спать. Они привычно опускают на пол матрацы, разворачивают одеяла, прислоняют подушки к колоннам из нержавеющей стали. Осторожно обходя спящих людей, мы растерянно бродим в поисках места для ночлега. Наконец натыкаемся на милиционера, безукоризненно вежливый, подтянутый, в белых перчатках, он ведет нас в вагон, и устраивает меня на мягком, кожаном сиденье. Вагоны предназначены для женщин с маленькими детьми. Для меня делают исключение...

«Какие вы счастливые, москвичи, — говорю я своей соседке. — Вот у нас в Ленинграде метро нет».

- A вы разве из Ленинграда? - спрашивает она. И через минуту меня обступает весь вагон.

* * *

За время нашего отсутствия Ленинград стал как-то спокойнее и строже. Он быстро и уверенно готовится к обороне. На улицах и площадях заколачивают витрины, обкладывают мешками с песком чудесные ленинградские памятники... Город находится в постоянной боевой готовности. Радио не молчит никогда. Промежутки между передачами заполняет сухое щелканье метронома (в обычное время — один удар в секунду, во время тревоги — 2 удара в секунду). Это щелканье не дает людям отвлечься, настораживает.

Интересно отношение немцев к людям, работающим на оборонной трассе. Сначала немцы пытались с ними заигрывать. Немецкие летчики, пролетая над ними, приветственно покачивали крыльями, сбрасывали листовки: «Переходите к нам: у нас много водки и хлеба!» Но потом, увидев, что листовки не помогают, и что никто на их сторону переходить не собирается, немцы рассвирепели. [В дело пошли] бомбы, снаряды, пулеметные очереди.

Кроме трусов, шептунов и паникеров, есть еще один тип людей, мешающих нашей обороне. Люди этого типа рассуждают примерно так: «Ленинград будут бомбить? Да что вы мне ерунду говорите! Есть фронт, и есть тыл. И совсем не нужно путать эти понятия. А вы... О панике кричите, сами же панику и устраиваете. Взять, хотя бы, воздушные тревоги... Ну для чего они?.. Меня будут бомбить? Какой абсурд! Да что я военный объект что ли? Немцы народ культурный и мирного населения трогать не собираются». (Из выступления агит-бригады)

* * *

Ожесточенные бои в районе Луги. Через город идут беженцы из захваченных немцами деревень. Гонят стада овец, свиней, коз. У беженцев сухие, злые глаза. Все взяли с собой — ничего не оставили врагу. Беженцев размещают в городе. Ленинградские столовые отпускают им бесплатные обеды...

Сегодня утром многие видели немецкий разведывательный самолет. Он летел высоко в небе, а за ним сверкающим строем неслись наши истребители. Вечером в городе разорвалось несколько снарядов. Ночью прямым попаданием фугасной бомбы был разрушен жилой пятиэтажный дом. Много жертв. Похоже, что фашисты принимаются за нас всерьез. Что-то будет дальше?!

* * *

Около семи часов вечера началась тревога. Перенести меня в убежище было некому. Мне оставалось только наблюдать за происходящим. Немцы, очевидно, хотели разбомбить Московский вокзал. Бомбы все время падали в нашем районе. На горизонте

заблестело зарево — горели Баадаевские склады... Бомбежка продолжалась около полутора часов. Потом над городом пролетели наши самолеты, и зазвучал отбой.

Я знаю, когда закончится война, меня будут жадно спрашивать: «Как жил в эти дни Ленинград?» И я никогда не сумею толком рассказать. Будут написаны сотни книг, но тысячи мелких неуловимых деталей, которые собственно и составляют основной колорит времени, будут утеряны навсегда... Беспрерывные тревоги изматывают, мешают сосредоточиться. У всех сильно расстроены нервы... В первые дни налетов в городе обнаружилось много вражеских ракетчиков. Только завоет сирена — и, глядишь, в небо поднимается ракета, разбрасывая вокруг себя зеленоватые брызги. Но почти всех ракетчиков очень быстро выловили. В охоте на них участвовало все население. Налеты на Ленинград обходятся немцам дорого: каждый день они теряют, по крайней мере, 5 самолетов. Немцы с откровенным цинизмом целятся по госпиталям и больницам.

* * *

... Мы подходим к только что разрушенному дому. Бомба разорвалась с такой силой, что в соседнем доме вылетели не только стекла, но и рамы. Из разрушенного дома, то и дело, появляются люди с носилками. Мужчины, женщины, дети и многие из них мертвы. Вот молодая женщина, лет 23. Лицо ее страшно обезображено; сломанная бессильно висящая рука запачкана кровью и грязью. Вот старик в изорванной окровавленной одежде. Он жив. Поднимается на носилках и стонет: «Проклятые!». Проклятые!». Из-за угла выход несколько вооруженных красноармейцев. Они ведут высокого белокурого человека. Это немецкий летчик, сбитый недавно над Ленинградом. Один из красноармейцев спрашивает: «gut»? Немец молчит и отворачивается.

Ленинградцев трудно запугать. Громко перекликаясь, утром идут на работу, прислушиваясь к далеким разрывам, с досадой поглядывая на ясное небо... Некоторые из моих знакомых, однако, не выдержали трудностей и бежали из Ленинграда. Сбежала Мара Диклер. Сбежал Юра Капралов. Сбежала Саня Найданова. Но лучшие — остались. Работают на оборону.

* * *

Когда с фронта приезжают, они [ребята] первым делом заходят ко мне... И льются, льются без конца тихие задушевные рассказы о фронтовой жизни, о боевых подвигах, о погибших друзьях. Погиб Боря Крючкович. В ожесточенном бою был ранен его товарищ. Боря выпрямился во весь рост и крикнул: «Санитара!» В это время около него разорвался снаряд... Нина Гаврилова ползла по полю, пробираясь к раненым бойцам. Внезапно она услышала стоны и увидела раненого немецкого офицера и раненого красноармейца, лежавших недалеко друг от друга. Нина подползла к немцу и перевязала его. Потом по-ползла к нашему бойцу. Тогда немец вынул револьвер и выстрелил ей в спину.

* * *

На улице абсолютная темнота. Почти не умолкая гремит канонада. Небо озаряется короткими, яркими вспышками. В обычное время — половина восьмого — начинается тревога. Люди собираются в убежище. Они двигают стулья, скамейки, укладывают матрацы... День прошел в напряженной работе. Можно вытянуться на скамейке, выпрямить затекшие руки и ноги и осторожно, стараясь не толкнуть соседа, заложить руки под голову. Ленинградцы ложатся спать. Настороженная ленинградская ночь. По улицам проезжают конные патрули. На темных вышках замерли молчаливые фигуры дозорных. Бесшумно проносятся автомобили. Великий город погружается в сон.

* * *

6 ноября 1941. Немцы в бессильной злобе стреляют по городу. Они знают, что в военном отношении их выстрелы — ничто. В лучшем случае им удастся убить еще несколько женщин, детей. Но сами они лежат, закопавшись в холодную, жесткую землю, и стреляют. Навести на ленинградцев панику — дело безнадежное. Это понимают даже немпы.

* * *

С продовольствием хуже. «Ленинградская правда» пишет: «Мы, большевики, привыкли говорить правду в лицо. Пока не будет прорвано кольцо вражеской блокады вокруг нашего города, продовольственное положение будет оставаться серьезным».

II ЧАСТЬ

4 месяца назад я закончил 1-ю часть этой книги. И вот на днях я решил собрать у себя дома ребят и устроить читку... Каждый день Ленинграда был для нас годом жизни, опыта и труда. За это время мы стали старше, проще и суровее. Сегодня я снова берусь за перо. Я буду писать о декабре 1941 года, я буду писать о январе, феврале, марте, апреле 1942 года — я буду писать о времени, когда немцы впервые по-настоящему поняли, что такое Ленинград.

* * *

Блокада, которой немцы охватили Ленинград, никогда не была абсолютной. В ней всегда были трещины и щели. Через эти трещины и щели непрерывным потоком текли в Ленинград продукты и боеприпасы. И немцы понимали, что остановить этот поток, вдыхающий силы в город и армию — дело первостепенной важности.

Они бомбили грузовики с продовольствием в районе Ладожского озера. Они ожесточенно, но безуспешно атаковали наши позиции. Ничего не получалось. Советские люди презирали смерть и под бомбами и снарядами доставляли Ленинграду и армии все необходимые грузы. Только в конце 1941 года, сконцентрировав на Северо-Западном фронте огромные силы, немцы добились, наконец, решительных успехов. Они заняли Тихвин. Они продвинулись к Волховстрою. И военно-продовольственное положение Ленинграда стало критическим.

У многих возникал вопрос: каким образом Красная армия Ленинградского фронта, уступавшая численно и технически, армия, измотанная в бесконечных боях, армия, сдавшая лужскую линию обороны, — сумела остановить немцев у самых ворот Ленинграда и не пустить их ни на шаг вперед. Где же лежал источник этого беспримерного мужества?

Ответ прост: источник этого мужества в самом Ленинграде. Город и армия слились в одно. В огне и смерти захлебывались бешенные немецкие атаки. И было ясно: если немцы не найдут другие методы, другие пути, другие средства, они никогда не вступят в Ленинград. Немцы, в общем, трезво оценили обстановку. Они поняли, что для того, чтобы сломить моральный дух армии, нужно сломить моральный дух мужчин, женщин и детей Ленинграда... [Поэтому] На Ленинград сброшены бомбы в количестве достаточном для деморализации населения, по крайней мере, 20-ти больших городов; каждый день идут кошмарные артиллеристские обстрелы. А Ленинград не дрогнул. Что же

178 / Из архива

можно сделать еще? Что может быть страшнее, чем тяжелые снаряды, разбивающие дома, чем 15 воздушных налетов в сутки? Голод!

* * *

Голод. Братские могилы. Мертвецы без гробов. Везут на саночках. Сзади два-три человека. Сжатые зубы, стиснутые кулаки, бледные ввалившиеся щеки. Один из них останавливается, шатается, хочет упасть. Двое других поддерживают его. Несколько минут они отдыхают. Потом медленно бредут дальше. Ленинград 1941 года.

* * *

Мама кладет на стол небольшой кусок хлеба и делит его пополам: одну половинку на сегодня, другую — на завтра. Затем берет сегодняшнюю половинку и делит ее на три кусочка: на завтрак, на обед, на ужин. Потом берет каждый кусочек и делит его на три части: одну для себя, другую для меня, третью для бабушки. Ленинградские меню: 1. Лепешки из картофельной муки (прибавить чуть-чуть ржаной). 2. Каша из ржаной муки (вода, соль, мука). 3. Суп из ржаной муки (вода, соль, мука). 4. Лепешки из дуранды (дуранду нужно хорошенько перемолоть, иначе будет засорение желудка). 5. Горчичные лепешки (горчицу пару дней вымачивают в воде, а потом пекут. Но, вообще говоря, есть такие лепешки не рекомендуется — можно получить язву желудка). 6. Картофельный крахмал (заваривают с солью). 7. Суп из хлеба (вода, соль, перец, лавровый лист, половина дневной порции хлеба). 8. Желе из столярного клея. Это далеко не полный перечень... Я часто слышал голос мамы: «Ну, Лева, сегодня я тебя обрадую. Мне удалось достать немного шиповника: будем делать кашу». — Брось, мама, — скептически возражал я. — Разве из этого можно сделать кашу? Я тебе заранее говорю, что ничего не выйдет. — «А вот посмотрим», — говорила мама и, к моему стыду и радости, каша выходила, действительно, вкусной.

* * *

До 25 декабря [1941 года] мы получали в день по 125 гр. хлеба (рабочие 250). С 25 стали получать 200 (рабочие - 350). Все были почему-то уверены, что с 1-го прибавят еще. Но пришлось разочароваться: положение на фронте серьезное, о прибавке не может быть и речи.

* * *

Новый год. Я думал, что немцы устроят «праздничный салют», но им не позволили. Они только постреляли в 9 часов вечера (минут 5, но довольно сильно). Ужин был царский: студень из желатина и горчицы, кусочек хлеба, вино и лечебные конфеты, которые мама принесла из аптеки.

* * *

6 часов вечера. В моей комнатке у раскаленной докрасна «буржуйки» собирается население большой коммунальной квартиры. Люди приходят надолго, на весь вечер. В квартире холодно, поэтому так приятно посидеть у огонька, погреть озябшие руки, перекинуться городскими новостями.

Женщины приносят с собой шитье, мужчины закуривают. На улице уже темно; шторы опущены и по стенам комнатки бегут светлые блики. «Буржуйка» сделана из

старого ведра и объемистого железного листа, на котором некогда пекли пироги. Топлива почти нет (на 3 дома нашего домохозяйства выдали на зиму 2,5 кубометра дров), и поэтому в раскаленную пасть «буржуйки» бросают мусор, бумагу, ножки от поломанных стульев и прочий хлам. В закопченном котелке булькает вода, слабо шипит поджариваемый к ужину хлеб. Нина, только что вернувшаяся из госпиталя, сидит на корточках у огня; Николай Иванович ходит по комнате и курит; Петр Гаврилович, слесарь Кировского завода, вертит в руках поломанную горелку от примуса и сокрушенно прищелкивает языком; его жена Вера Николаевна, большим кухонным ножом переворачивает на сковородке хлеб; Коля, их сын, еще не вернулся с завода, и я с нетерпением поглядываю на дверь, зная, что если он придет поздно, он не захочет сразиться со мной в шахматы. Как-то по-особенному уютно в эти незабываемые вечера!.. Негромкие возникают разговоры. — Что-то давно немцы не прилетали, — говорит Вера Николаевна. — Уже более двух месяцев не было. «А ты что, соскучилась?» — смеется Петр Гаврилович — давно «зажигалок не тушила?». Николай Иванович останавливается и объясняет: «замерзли теперь немцы. В 40-градусные морозы много не полетаешь. Ручки и ножки свело; вот они и притихли. «Ну, притихли-то они, положим, не притихли, — говорит Нина, — артиллерия у них каждый день стучит». — Артиллерия стучит, соглашается Николай Иванович. — Но только со гласитесь, Ниночка, что артиллерия-то у них стучит не так, как раньше. Теперь их огневые налеты продолжаются всего 5-7 минут. Дольше стрелять они не решаются: боятся как бы их не нащупала наша артиллерия. Правда, налеты эти бывают очент интенсивны. Вот, например, вчера, когда был обстрел нашего района, я насчитал за 5 минут 46 выстрелов». «Но какие сволочи, стрелять по мирному населению» — восклицает Вера Николаевна. — А ты еще не привыкла? Брось!.. Удивляться тут нечему. Они идут на любые преступления, самые тяжелые, самые бессмысленные. Разговор меняется.

«Интересно, что нового на фронте?» — спрашивает Нина. Все оборачиваются ко мне. С фронтом я имею острую и непрерывную связь: каждый день получаю толстые пачки писем, несколько раз в неделю ко мне заходят приехавшие на побывку ребята. Пока я рассказываю, Вера Николаевна разливает по чашкам кипяток, раскладывает по тарелкам крохотные кусочки поджаренного хлеба и приглашает нас пить чай. Дверь со стуком открывается. Засыпанный снегом, входит Толя. Он снимает пальто, подсаживается к столу и берет в руки дымящуюся чашку. — Устал? — спрашиваю я его. «Еще бы! — улыбается он. — 6 километров в один конец — путь не маленький, да и на заводе работы хватает». Вот если бы ходил трамвай, тогда дело другое»... Все прощаются и расходятся по своим комнатам. Я быстро раздеваюсь и поспешно залезаю под одеяло «Буржуй-ка» уже потухла и через пару часов в комнате будет совсем холодно.

* * *

24/I — сегодня прибавили хлеба: рабочим дают 400, служащим — 300, иждивенцам — 250. Появился полубелый хлеб за 1 р. 70 к.

27/I — стоят жуткие морозы. Почти во всем городе замерзли водопровод и канализация. По улицам бродят люди с ведрами.

* * *

«А у вас в доме тоже вода замерзла». — Еще вчера! — «Что же нам делать?». Идите за мной. В доме N° 40 у Кивеля еще не замерзло. — Он не даст... вы его не знаете. Он очень плохой управдом: для своих жильцов еще дает, а для чужих — ни капли». — Ничего! Пару ведер, как-нибудь отвоюем.

* * *

Скрипят саночки. Везут воду из Невы. Женщина с отекшим изученным лицом тянет веревку, мальчик лет 8-ми идет сзади, придерживая ведра руками. Доходят до большого серого дома. — Приехали, — говорит женщина, облегченно вздыхая. Мальчик оставляет санки, подбегает к двери и открывает ее. «Ты только осторожнее, мамочка, — просит он — на лестнице темно: того и гляди споткнешься и уронишь ведро — плохо! — второй раз на Неву не пойдешь!»

* * *

Везти воду из Невы трудно, и поэтому многие предпочитают пить растопленный на буржуйке снег. Его кипятят и процеживают сквозь ватку, но, не смотря на это, получается нечто грязное и очень противное на вкус. Из-за воды перебои с хлебом. Многие не получают его уже 2-3 дня, становятся в очередь, стоят 6-7 часов. При этом хлеба не хватает, и приходится становиться в новую бесконечную очередь. Желающим вместо хлеба дают муку.

* * *

— Вы знаете? На 6-ой Советской труба лопнула. — «Что вы говорите? Какое счастье». Ленинградец хватает ведро, набрасывает на плечи пальто и выбегает на улицу. У лопнувшей трубы — с ведрами, кастрюлями, бидонами — толпятся люди. Их уже много. С соседних улиц подбегают все новые и новые. Вода, звонко журча, струится по заснеженной мостовой, ныряет в углубления, подпрыгивает на бугорках, и люди, весело перекликаясь, черпают и черпают из этого благословенного источника. Сегодня выдался легкий день: не нужно ходить на Неву.

* * *

Мороз. Серое неподвижное небо. Очередь за хлебом — шумная, пестрая, большая. У многих поверх пальто накинуто ватное одеяло. У пояса оно перехвачено полотенцем, а под горлом застегнуто французской булавкой. Люди хлопают в ладоши, переступают с ноги на ногу, и от этого кажется, что по всей очереди пробегают неровные вздрагивающие волны. Высокий старик в рыжем полушубке и в грязных разбухших валенках яростно притоптывает ногами. «Что, дедушка, холодно? — спрашивают его, смеясь. — И как это мы в такие морозы выстаиваем?» — Ничего! — говорит старик. — «Морозы-то наши, советские. Мы с ними как-нибудь сговоримся. А вот немцы... – Миленькие вы мои! — восклицает на другом конце очереди женщина, плечи которой стягивает огромный шерстяной платок, - а что мне мой зять-то сказал, он у меня военный. Все знает. Он говорит, что войско прорвет блокаду и уйдет,... а Ленинград сдадут!» — Ерунда! Хватит языком трепать! — кричат из очереди. «Не верите?» — обижается женщина. — Ну и не надо! А не сдадут Ленинград, конец все равно один: все равно все с голоду передохнем!» — Вы так думаете? — спрашивает ее молодая работница, стоящая сзади. «А как же!» Тогда работница крепко берет ее за рукав и говорит: — Пойдем! — женщина пугается. «Да что же это такое? — кричит она высоким визгливым голосом, напрасно стараясь высвободить рукав — Да что же я такого сказала? Да кто вы такая, чтобы хватать меня?!» — Не ори, — говорит работница. Она говорит сурово и негромко, но голос кричащей сразу срывается. — Кто я такая — проверить каждый может. Я работаю на заводе: работаю на мою советскую власть. А вот на кого работаешь ты, это пускай Н.К.В.Д. разбирает.

* * *

В нашем районе уже 3 недели не работает радио. Изредка слабо доносятся голоса, но разобрать ничего нельзя. Газет почти не достать. Новости узнаем через ОЖГ-бюро. (ОЖГ — одна женщина говорила)

* * *

В амбулаториях холодно. Больных не осматривают — боятся простудить. Врачи расспрашивают их и подмахивают бюллетени. «Можно вызвать врача на дом?» — спрашивает одна женщина. — Отчего же, можно — отвечают ей — но только имейте в виду, что придет он не раньше чем через неделю. Врачей у нас мало — кто на фронт уехал, а кто заболел.

* * *

Бани и прачечные не работают. Дома воды нет. Мама очень мучается: у нас завелись вши, и мы не знаем, как от них избавиться. Иногда мне становится невыносимо тяжело. Я лежу на кровати, набросив на плечи пальто и натянув на ноги большое ватное одеяло. Мне холодно. Несколько дней тому назад на соседней улице разорвался снаряд. От воздушной волны, задребезжав, вылетели стекла. И вот теперь, несмотря на то, что окно заткнули подушкой, в моей комнатке, по крайней мере, 15 градусов мороза. Я поворачиваюсь и смотрю на часы. Половина шестого. До ужина осталось еще полтора часа. Так уж у нас с мамой заведено: завтрак в 8 часов утра, обед в 2 часа дня, ужи н в 7 часов вечера. Железная дисциплина желудка! Я знал уборщицу одного убежища. Она брала хлеб на 2 дня (600 гр.) и съедала его сразу. Потом 2 дня голодала. Недавно мне рассказали, что она умерла от истощения. Только железная дисциплина может спасти нас от смерти, только железная дисциплина приближает к нам огромную яркую победу. Это понимают не все. Я понимаю это, но как трудно мне держаться: в рамках дисциплины! Последние полчаса перед едой лежишь, стиснув кулаки и зубы, чувствуешь, как рот заполняется горячей горькой слюной, как ноет под ложечкой, как мучительно сжимается сердце. Резко и отчетливо раскатываются в воздухе удары. Один... другой... третий... усталый голос диктора в который раз за сегодняшний день объявляет об обстреле района. Я поднимаю голову и слушаю приближающиеся взрывы. Число артиллерийских обстрелов давно уже перевалило за сотню, но никогда не покидает меня во время этих обстрелов нервное возбужденное настроение. Легче, когда в комнате кто-нибудь есть. Тогда за смехом, за шутками, за разговором, находя друг в друге моральную поддержку, не показывая друг другу свои тревоги, своего волнения, действительно легко протягиваешь короткий отрезок времени, не обращая внимания на грохот, на подпрыгивающую в буфете посуду, на качающиеся скрипящие стены. Но когда остаешься один со своими мыслями, когда знаешь, что лежишь на кровати в запертой квартире, знаешь, что если начнется пожар от зажигательного снаряда, жестокая болезнь, приковавшая к месту, не дает подняться и выбежать на улицу — трудно сохранить самообладание.

* * *

Кругом десятки тысяч домов. Мой дом — маленькая точка. Почему снаряд должен попасть именно в него? Но ведь люди в доме на 9-ой Советской тоже рассуждали, как я! Неужели сегодня придется умереть? Я не трус и я не боюсь смерти,... но так хочется жить! Сколько может еще протянуться это? Холод, голод, обстрел... Холод, голод,

обстрел. Изо дня в день, изо дня в день. Насколько еще хватит воли, выдержки, силы? Ведь есть предел и нечеловеческому терпению!

* * *

В коридоре слышатся шаги. Свежая, с мороза, улыбающаяся входит Нина. «Ка-акой обстрел! — говорит она — я даже струсила, Левушка. Иду сейчас по Советскому, а над моей головой как — вжик! — Я так и присела» Нина подходит к зеркалу, сбивает с пальто снег, подсаживается ко мне на кровать, ласково обнимает меня за плечи. «Что с тобой, Левушка? — спрашивает она — Ты какой-то грустный сегодня. А у меня для тебя сюрприз: поднимаясь по лестнице, я вынула из ящика письмо». Серый конверт со штампом «военное». Синяя тетрадная обложка, исписанная мелким, торопливым почерком. И теплые взволнованные слова: — Левушка, родной! Помнишь Москву? Первые дни налетов, пыльные настороженные улицы, жара. Ты сидел у меня в комнате, я ходил из угла в угол, нервничал и говорил тебе о Ленинграде. Меня бесило твое, казалось, благодушное, довольное настроение. Я говорил: — Немцы приближаются к Ленинграду с каждым днем. Опасность растет. От судьбы вашего города зависит во много судьба всей страны. На вас ложится огромная ответственность. Выдержите ли вы, Левка? — и ты ответил мне тогда, спокойно и негромко, взвешивая и проверяя каждое слово: «Да, Коля, мы выдержим. Я знаю: нам будет трудно... Но Ленинград всегда был любимцем страны, и он оправдает ее доверие!» сколько раз вспоминал я эти слова! На фронте, под Москвой, в сорокаградусные морозы, когда руки сводило от холода, когда над головой тонко посвистывали пули, когда под влиянием минутного страха, минутной слабости, хотелось бросить винтовку и зарыться в снег, мозг обжигали острые, презрительные мысли. — Трус! Так-то ты защищаешь Родину?! Держись, как держатся на полуострове Ханко, как держатся в Ленинграде! — И страх сменяла ярость к врагу, мечтающих превратить нас в рабов, сделавшему столько гнусностей на нашей свободной земле. Как часто на привалах, во время коротких передышек между боями, бойцы говорили о женщинах и детях Ленинграда, собирали им подарки, писали им ласковые неуклюжие письма. Всегда и во всем Ленинград был светлым вдохновляющим примером. Красная армия разбила немцев в Ростове, разгром под Москвой в этом есть и ваша заслуга! Ленинград покрыл себя неувядающей славой. Оборона Ленинграда войдет в историю Великой Отечественной Войны, как одна из самых ярких ее страниц. Я не умею писать, у меня получается плохо, стандартно,... но разве можно говорить об этом другими словами? Я горжусь, что и у меня есть друг — Ленинградец. Я верю что до того недалекого дня, когда разлетится проклятая немецкая блокада, ни у кого из вас не опустятся головы, ни у кого из вас не придут на ум черные, трусливые мысли. Крепко обнимаю тебя. С комсомольским приветом, Коля». — Я отрываюсь от письма, заглядываю в светлые Нинкины глаза, и мне становится мучительно стыдно за прожитые только что минуты.

* * *

Никто не заметил, как это произошло. Перелом наступил сразу. Мне кажется, что лучше всего об этом расскажут скупые строчки дневника.

* * *

На днях начали работать бани и прачечные. Пропускная способность небольшая. В банях один день мужской, один — женский.

Прибавили хлеба. Рабочим дают 500, служащим 400, иждивенцам 300.

* * *

Сегодня 1-ая выдача крупы за февраль (рабочим 500, служащим 375, иждивенцам 250, детям 300). В городе празднично. Настроение очень высокое. Говорят, что на базах много сахара, масла и мяса. На улице заметно потеплело. Участились артиллерийские обстрелы. Идет артиллерийская дуэль. Долетают короткие глухие удары (это бьют наши орудия с морского полигона) и громкие раскатистые взрывы (это рвутся на улицах города немецкие снаряды)

Вчера в нашей лавочке весь день давали крупу. Утром перловую и горох, вечером гречневую. Сегодня дают сахарный песок (рабочим 300, служащим 250, иждивенцам 200). Настроение все повышается и повышается. Ждем масла и мяса.

Сегодня выдают мясо (рабочим 450, служащим 215, иждивенцам 195). Завтра ожидаем масла. По квартирам ходит дворник. Берет у всех вторничную подписку, что будут строго соблюдаться правила светомаскировки. За первое нарушение штраф, за второе — ревтрибунал. Очевидно, приближается время налетов.

Всего 4 дня тому назад давали крупу. А сегодня ее выдадут опять, в городе всеобщее ликование. ОЖ Γ — бюро работает во всю. Но теперь новости только хорошие. Говорят, что немецкая блокада трещит по всем швам, что в город навезли уйму круп, сушеных овощей, рыбы, масла и мяса, снова ожидают прибавки хлеба. Почта работает очень плохо. Письма из страны шли несколько месяцев. Многие - не доходили. Но мы не обижались. Мы понимали, в каких трудных и опасных условиях приходится работать людям, доставляющим письма в Ленинград. И вот несколько дней назад в «Ленинградской правде» и в «Смене» появились резкие возмущенные статьи. В этих статьях говорилось, что люди, занимающиеся доставкой писем в Ленинград, работают хорошо, доставляют письма быстро и аккуратно, и что задержка происходит потому, что письма по 2-3 месяца валяются на Ленинградских почтамтах. И тогда нам стало действительно обидно, ведь каждому ясно, чем является для ленинградца письмо. Получить письмо - это значит взять в руки еще одну нить, протянутую из сердца страны, вдохнуть в себя новый заряд бодрости, силы и энергии. И плохой работе ленинградских почтовиков — нет оправдания. Сейчас на почтамты направлены шефы — пионеры и комсомольцы. Письма получаем пачками.

20/II — Сегодня выдают сушеные овощи (150 г)...

На этом заканчивается дневник, который вел юноша Лев Друскин с 22 июня 1941 года по 20 февраля 1942 года.